

# ПО ПОВОДУ СТАТЬИ Д. МИРСКОГО

Статья И. Сергиевского

Печатаемая выше статья Мирского заслуживает самого пристального внимания хотя бы уже по одному тому, что она представляет собой, по сути дела, первую попытку поставить вопрос о путях изучения русской литературы XVIII в. во всей его широте и сложности. Она тем более интересна, что свои определения и оценки Мирский пытается строить, исходя не из туманных соображений о большей или меньшей эстетической ценности литературы той эпохи в сравнении с литературой позднейшей, а из анализа ее классового содержания. Это—основное достоинство статьи.

Наряду с этим она страдает однако и целым рядом недостатков. Среди них первое место занимает тот, что, воссоздавая общую картину расстановки классовых сил и их взаимодействия в феодально-крепостническом обществе, Мирский допускает ряд крупнейших принципиальных ошибок, совершенно искажающих подлинный социально-экономический рельеф эпохи.

К числу таких ошибок относится прежде всего выдвигаемое Мирским утверждение о чисто крепостническом характере социально-экономического уклада России XVIII в., о полном отсутствии в нем каких бы то ни было элементов буржуазного прогресса. Совершенно очевидно, что развернутых промышленно-капиталистических отношений в рассматриваемую эпоху Россия не знала. Но элементы промышленного капитализма, хотя и в весьма неразвернутом виде, были налицо: в вольнонаемной мануфактуре, о которой ни единым словом не упоминает Мирский, в еще большей степени—в крестьянском хозяйстве, в крестьянских промыслах. Другой общеизвестный факт, о котором напрасно забывает Мирский,—факт начала перестройки, хотя пока еще довольно вялой, сельского хозяйства во второй половине XVIII в.: недаром именно в это время возникает Вольно-экономическое общество, оживленно дискутируется вопрос о наиболее рациональных методах эксплуатации крестьянства и т. д.

С другой стороны, Мирский совершает не менее грубую ошибку, утверждая, что Европа XVIII в. была страной уже вполне буржуазной. Это опять-таки неверно. Вполне буржуазной Европа становится лишь несколько десятилетий спустя, когда и в России процесс промышленно-капиталистического перерождения феодально-крепостнического хозяйственного уклада переходит уже на высшую, при этом высшую в качественном отношении ступень.

Ошибочность обоих этих утверждений приводит к тому, что в корне неверной оказывается у Мирского и предлагаемая им характеристика эстетической культуры русского дворянства XVIII в. как культуры, которая стоит к Западу в отношении подражания, в отношении неорганического усвоения социально чуждых форм.

Дальше он, правда, пытается уточнить свои исходные формулировки, отмечая, что западноевропейская эстетическая культура XVIII в., несмотря на всю свою буржуазность, хранила в себе еще целый ряд элементов феодального прошлого и что именно этой своей стороной она оказалась родственной эстетической культуре русского дворянства XVIII века.

Суждение в известном смысле вполне здоровое и основательное. Но прежде всего оно вступает в явное противоречие с предыдущим суждением о вполне буржуазном характере Европы того времени: раз какие-то рудименты феодализма в ее социально-экономическом и культурном укладе сохранялись, значит вполне буржуазной она не была, значит какими-то своими точками господствовавшая в ней система общественных отношений совпадала с системой общественных отношений, господствовавших в России. А тем самым—значит, что по меньшей мере неточной должна быть признана характеристика европеизма русской культуры XVIII в. как явления абсолютно неорганического, поверхностно-подражательного. Здесь у Мирского полу-

чается путаница, отнюдь не способствующая четкости и завершенности развертываемой им концепции.

Затем неверно, что, обращаясь к идеологическим фундаментам Запада, Россия черпала из них только то, что являлось продуктом инерции феодального прошлого. Если согласиться с этим, то как быть например с русским вольтеризмом XVIII в.? Ответ, который предлагает на этот вопрос Мирский, поистине представляет собою верш всяческой несуразицы. У Мирского получается так, что заигрывание—пользуемся его же терминологией—с Вольтером и с французским просветительством вообще для русского дворянства той эпохи играло роль своего рода полировки крови, развлечения, приятно щекочущего нервы и своей остротой подчеркивающего полное благополучие феодально-крепостнической действительности.

Надо ли говорить о том, насколько наивно это грубо-психологическое объяснение? Для Мирского оно является однако единственно возможным и последовательным, ибо, признав подлинный смысл вольтеризма в том, что оно являлось одним из проявлений зреющих в недрах феодально-крепостнического общества буржуазных отношений и буржуазного сознания, он должен был бы отказаться от своего положения о полном благополучии русского феодализма, об отсутствии у него каких бы то ни было классовых конкурентов, короче—о чисто феодальном характере России XVIII в. А это разрушило бы всю его концепцию.

Чем дальше углубляется Мирский в дебри своих исторических рассуждений, тем путаннее они становятся. Уже в прямой и открытый конфликт с исторической правдой он встает, отрицая факт борьбы между различными группировками дворянства. По его мнению все дело сводилось здесь так сказать к домашним спорам о том, как наиболее целесообразно организовать дворянское государство, при чем спорили даже не экономически разнородные группы дворянства. Мысль эта страдает двумя существенными дефектами. Во-первых, она не очень-то вразумительна. На Западе буржуазия спорила с дворянством тоже главным образом о том, как более целесообразно организовать государство, но вряд ли Мирский будет отрицать, что эти споры носили все признаки весьма длительной и ожесточенной борьбы. Так что не в этом дело.

Во-вторых, она не верна. Позволительно спросить Мирского: если боролись не экономически разнородные группы дворянства, то почему же они все-таки боролись, почему одни считали наиболее целесообразной одну организацию дворянского государства, а другие—другую? Или более дальновидные дворяне спорили с менее дальновидными, умные—с глупыми? Такой ответ был бы вполне в стиле психологических рассуждений Мирского.

Все это в действительности обстояло конечно иначе. Боролись конечно не умные дворяне с глупыми, а боролись дворянские группировки, экономика, а следовательно и политические интересы которых были различны. Основными противостоявшими силами были при этом, с одной стороны, высшее дворянство, придворная знать, являвшаяся вплоть до пугачевщины цитаделью всяческого политического фрондерства, с другой стороны—среднепоместное и мелкопоместное шляхетство, служившее постоянной опорой самодержавия в его борьбе с олигархическими тенденциями дворянских верхов. Содержание этой борьбы, ее основные этапы,—все это достаточно общеизвестно. Отсылаем здесь Мирского хотя бы к трудам М. Н. Покровского, в роли непрощенного защитника которого пытается, кстати сказать, выступать Мирский, не упуская однако при этом случая обронить несколько фраз о негочности и недостаточности созданной М. Н. Покровским концепции.

Преувеличивать значение этой борьбы отдельными дворянскими группировками конечно не следует,—в этом мы согласны с Мирским. Но отрицать самый факт ее существования, как пытается он делать это в начале, или объявлять ее лишеной каких бы то ни было социально-экономических предпосылок, как поступает он далее,—значит заниматься именно тем, в чем не совсем справедливо упрекает он Шкловского: на основании нескольких прочитанных книг, журнальных статей и справочников пытаться ревизовать построения марксистско-ленинской историографии. Думается, что в этом отношении Герцен, кстати сказать, с какой-то нигилистической неразборчивостью в выражениях награждаемый Мирским снятой с него еще Лениным кличкой либерала,—Герцен, интересовавшийся этой борьбой и издавший публицистический трактат Щербатова, стоял на более научных позициях, чем наш автор.

Не следует преувеличивать значения литературных отражений этой борьбы. Но не следует и преуменьшать. Нужно учитывать, что на основе этой борьбы выросла не только широко разветвленная рукописная сатирическая литература, но и творчество такого во всех отношениях незаурядного поэта, каким был Княжнин.

А главное—не следует воскрешать старых, пусть в свое время вполне оправданных, басен о безыдейности, бессодержательности дворянской литературы XVIII в. Как раз оперативность—говоря языком нашей эпохи—определенных ее пластов, ее теснейшая связь с социальной практикой дворянства—одно из характерных ее свойств, придающих ей определенный интерес и для нас. Один из участников настоящего сборника говорит о том, что стихотворения Державина играли роль своего рода негласной прессы, предоставляя читателю и сатирический фельетон, и передовую статью. Это вернее и убедительнее извлекаемых Мирским из архива либерально-дидактической историографии легенд о поэзии—сладком лимонаде.

Грубую ошибку делает Мирский там, где, говоря о буржуазно-демократической оппозиции в русской литературе XVIII в., он называет одного только Радищева и ставит крест на всей прочей буржуазной литературе эпохи, лишенной по его мнению всякой идеологической ценности. Это опять-таки пример того, как критическое отношение к литературному наследию подменяется мелкобуржуазным историческим нигилизмом, писаревщиной, если только не пример простого недомыслия.

К последнему предположению дает повод, собственно говоря, следующее обстоятельство: сурово расправившись с буржуазной литературой XVIII в. с точки зрения ее революционности и ее идеологической ценности, Мирский тут же прибавляет, что она интересна как наиболее реалистическое искусство той эпохи. Но разве самый факт ее реалистичности, ее обращенности к жизненной действительности, в противоположность идеалистическому, абстрактному аристократическому искусству классицизма, не имел определенного революционизирующего значения, не обусловливал за ней значения диалектически высшего этапа литературной борьбы той эпохи? Все это достаточно просто и понятно.

Мирский однако стоит на своем: да, буржуазная литература XVIII в. была реалистична; как всякая реалистическая литература она имеет для нас неотъемлемую ценность, но присущий ей реализм, видите ли, не заострен идеологически против изображаемой крепостнической действительности. Этот упрек отводится уже соображениями, высказанными выше. Здесь мы можем только пополнить их.

В самом деле, раз литература буржуазии XVIII в. есть искусство реалистическое, то тем самым она уже заострена против всего, что было реакционного и инертного в современном ей жизненном укладе. Ибо подлинно реалистично искусство не просто тяготеющее к реально-бытовому материалу, а искусство исторически правдивое, верное жизненному процессу. Только при таком его понимании и можно говорить о нем как об искусстве, всегда имеющем для нас неотъемлемую ценность, и если Мирский представляет себе дело иначе, о какой же его ценности он говорит?

Таковы вопиющие противоречия возводимой Мирским научной (не правильнее ли было бы взять это слово в кавычки?) концепции русской литературы XVIII в., противоречия, в массе которых решительно тонут те дельные замечания, которые встречаются в его статье, например о литературе городского плебса, о литературе крестьянства.

Остается прибавить только, что мы останавливаемся лишь на важнейших и существеннейших его ошибках, минуя отдельные частные формулировки, нередко не менее дикие. Его утверждение о том например, что литература XVIII в. отделена от литературы XIX в. глубоким качественным изменением, сопровождавшимся почти полным разрывом литературной традиции, совершенно беспредметно. Достаточно указать на витийственную, прямо опирающуюся на философскую оду Державина лирику поэтов-любомудров типа Шевырева или Хомякова.

Его мысль о том, что русский романтизм с Пушкиным во главе явился идеологическим эквивалентом промышленно-капиталистических сдвигов, пережитых русским народным хозяйством в начале XIX в.,—более чем спорна. Какой романтизм? Если тот, наиболее ярким выражением которого явились южные байронические поэмы Пушкина с их уходом от действительности, с их скорбническими настроениями, то он в гораздо большей степени связан с феодально-дворянской реакцией на первый взрыв буржуазной идеологии в России, нежели с самым этим взрывом.

Но это, повторяем, мелочи. Нас интересовали в первую очередь те ошибки Мирского, которые придадут в значительной мере фантастический характер его общей концепции.

Конечные наши выводы в общем итоге таковы: вопросы, которые ставит Мирский в своей статье, весьма существенны и поставлены они весьма своевременно. Но, пытаясь дать цельный и исчерпывающий ответ на эти вопросы, Мирский допустил большую путаницу. Поэтому и ценность его статьи—по преимуществу негативная, отрицательная, и только некоторые его суждения, сосредоточенные главным образом в конце его статьи, имеют бесспорно положительное значение для дальнейшей разработки трактуемых в статье проблем.